



С. Н. ТРУБЕЦКОЙ

Смерть Вл. С. Соловьева

31 июля 1900 г.

Вл. С. Соловьев приехал в Москву вечером 14 июля и провел ночь в «Славянском базаре». Выехал он совершенно здоровый из с. Пустыньки, со станции Саблино, но уже по приезде в Москву почувствовал себя нездоровым. 15-го утром, в день своих именин, он был в редакции «Вопросов философии»¹, где оставался довольно долго, и послал рассыльного переговорить со мной по телефону. Я звал его к себе, в подмосковную моего брата, с. Узкое, и предложил ему ехать из Москвы с Н. В. Давыдовым, его хорошим знакомым и моим родственником, которого я ждал к обеду. В редакции Владимир Сергеевич не производил впечатления больного, был разговорчив и даже написал юмористическое стихотворение. Из редакции он отправился к своему другу А. Г. Петровскому², которого он поразил своим дурным видом, а от него, уже совсем больной, прибыл на квартиру Н. В. Давыдова. Не заставши его дома, он вошел и лег на диван, страдая сильной головною болью и рвотой. Через несколько времени Н. В. Давыдов вернулся домой и был очень встревожен состоянием Владимира Сергеевича, объявившего ему, что едет с ним ко мне в Узкое. Он несколько раз пытался отговорить его от этой поездки, предлагал ему остаться у себя, но Владимир Сергеевич решительно настаивал. «Этот вопрос принципиально решенный, — сказал он, — и не терпящий изменения. Я еду, и если вы не поедете со мной, то поеду один, а тогда хуже будет». Н. В. Давыдов спрашивал меня по телефону, и я, думая, что у Соловьева простая мигрень, советовал предоставить ему делать, как он хочет. Прошло несколько часов, в продолжение которых больной просил оставить его отлежаться. Наконец он сделал усилие, встал и потребовал, чтобы его усадили на извозчика. Наступил вечер, погода была скверная и холодная, шел дождик, предстояло ехать

16 верст, но оставаться Соловьев не хотел. Дорогой ему стало хуже; он чувствовал дурноту и полный упадок сил, и когда он подъехал, его почти вынесли из пролетки и уложили на диван в кабинете моего брата, где он пролежал сутки, не раздеваясь.

На другой день, 16-го, был вызван доктор А. Н. Бернштейн, а 17-го приехал Н. Н. Афанасьев, который и пользовал Владимира Сергеевича до самой его смерти. Кроме того, его посещали московские доктора — А. А. Корнилов, бывший у него три раза, проф. А. А. Остроумов, следивший за болезнью, и А. Г. Петровский. Так как Н. Н. Афанасьев должен был временно отлучаться по делам службы, то на помощь ему был приглашен А. В. Власов, ординатор проф. Черинова, находившийся при больном безотлучно.

Врачи нашли полнейшее истощение, упадок питания, сильнейший склероз артерий, цирроз почек и уремию. Ко всему этому примешался, по-видимому, и какой-то острый процесс, который послужил толчком к развитию болезни.

В последние дни температура сильно поднялась (в день смерти до 40°), появились отек легких и воспаление сердца. Состояние с самого начала было признано крайне серьезным. Нельзя не отметить самого внимательного и сердечного отношения со стороны врачей, лечивших Владимира Сергеевича и сделавших все, что было в их силах.

Первые дни Владимир Сергеевич сильно страдал от острых болей во всех членах, особенно в ногах, спине, голове и шее, которую он не мог повернуть. Затем боли несколько утихли, но осталось дурнотное чувство и мучительная слабость, на которую он жаловался. Больной бредил и сам замечал это. По-видимому, он все время отдавал себе отчет в своем положении, несмотря на свою крайнюю слабость. Он впадал в состояние полузабытья, но почти до конца отвечал на вопросы и при усилии мог узнавать окружающих.

Первую неделю он иногда разговаривал, особенно по общим вопросам, и даже просил, чтобы ему читали телеграммы в газетах. Его мысль работала и сохраняла ясность еще тогда, когда он с трудом мог разбираться во внешних своих восприятиях. Он приехал под впечатлением тех мировых событий, которым посвящена последняя подписанная им статья³. Он собирался ее дополнить и обработать, хотел мне ее прочесть, но не мог. Он пенял мне на мою заметку, помещенную в «Вопросах философии»⁴ и набросанную еще до разгара китайского движения. Я обещал ему исправить мою невольную ошибку и, сидя около него, перекидывался с ним словами о великом и грозном историческом

перевороте, который мы переживаем и который он давно предсказывал и предчувствовал. Я вспомнил его замечательное стихотворение «Панмонголизм», написанное еще в 1894 году и последняя строфа которого врезалась мне в память.

— Какое твое личное отношение к китайским событиям теперь, что они наступили? — спросил я Владимира Сергеевича.

— Я говорю об этом в моем письме в редакцию «Вестника Европы», — отвечал он. — Это — крик моего сердца. Мое отношение такое, что все кончено; та магистраль всеобщей истории, которая делилась на древнюю, среднюю и новую, пришла к концу... Профессора всеобщей истории упраздняются... их предмет теряет свое жизненное значение для настоящего; о войне Алой и Белой роз больше говорить нельзя будет. Кончено все!.. И с каким нравственным багажом идут европейские народы на борьбу с Китаем!.. Христианства нет, идей не больше, чем в эпоху Троянской войны, только тогда были молодые богатыри, а теперь старички идут!

И мы говорили об убожестве европейской дипломатии, проглядевшей надвигавшуюся опасность, о ее мелких алчных расчетах, о ее неспособности обнять великую проблему, которая ей ставится, и разрешить ее разделом Китая. Мы говорили о том, как у нас иные все еще мечтают о союзе с Китаем против англичан, а у англичан — о союзе с японцами против нас. Владимир Сергеевич прочитал мне свое последнее стихотворение, написанное по поводу речи императора Вильгельма к войскам⁵, отправлявшимся на Дальний Восток. Он приветствует эту речь, на которую обрушились и русские, и даже немецкие газеты; он видит в ней речь крестоносца, «потомка меченосной рати», который «перед пастью дракона» понял, что «крест и меч — одно». Затем речь снова вернулась к нам, и Владимир Сергеевич высказал ту мысль, которую он проводил еще десять лет тому назад в своей статье «Китай и Европа»⁶, — что нельзя бороться с Китаем, не преодолев у себя внутренней китайщины. В культе Большого Кулака мы все равно за китайцами угнаться не можем; они будут и последовательнее, и сильнее нас на этой почве. Владимир Сергеевич говорил и о внешних осложнениях, о грозящей опасности панславизма, о возможном столкновении с Западом, о безумных усилиях иных патриотов наших создать без всякой нужды очаг смуты в Финляндии, под самой столицей...

Это была самая значительная беседа наша за время болезни Владимира Сергеевича. На второй же день он стал говорить о смерти, а 17-го он объявил, что хочет исповедоваться и причаститься, «только не запасными дарами⁷, как умирающий, а за-

втра после обедни». Потом он много молился и постоянно спрашивал, скоро ли наступит утро и когда придет священник. 18-го он исповедовался и причастился св. тайн с полным сознанием. Силы его слабели; он меньше говорил, да и окружающие старались говорить с ним возможно меньше; он продолжал молиться — то вслух, читая псалмы и церковные молитвы, то тихо, осеняя себя крестом. Молился он и в сознании, и в полузабытьи. Раз он сказал моей жене: «Мешайте мне засыпать, заставляйте меня молиться за еврейский народ, мне надо за него молиться», — и стал громко читать псалом по-еврейски. Те, кто знал Владимира Сергеевича и его глубокую любовь к еврейскому народу, поймут, что эти слова не были бредом. Смерти он не боялся — он боялся, что ему придется «влачить существование», — и молился, чтобы Бог послал ему скорую смерть. 24-го числа приехала мать Владимира Сергеевича и его сестры. Он узнал их и обрадовался их приезду. Но силы его падали с каждым днем. 27-го ему стало как бы легче, он меньше бредил, легче поворачивался, с меньшим трудом отвечал на вопросы; но температура начала быстро повышаться; 30-го появились отечные хрипы, а 31-го, в 9 ¹/₂ ч. вечера, он тихо скончался.

Его похоронили в четверг, 3 августа, рядом с могилой его отца Сергея Михайловича; он говорил мне во время болезни, что приехал в Москву главным образом «к своим покойникам», чтобы навестить могилу отца и деда. Его отпевали в университетской церкви, где еще в раннем детстве ему явилось первое его видение*. Начало августа — самое глухое время в Москве, и на похоронах было сравнительно немного народу. Мы шли за его гробом с несколькими друзьями, вспоминали о нем и говорили о том, какого хорошего, дорогого и великого человека мы хороним.

Это был истинно великий русский человек, гениальная личность и гениальный мыслитель, не признанный и не понятый в свое время, несмотря на всеобщую известность и на относительный, иногда блестящий успех, которым он пользовался. Мне трудно отвлечься от чувства горячей дружбы и любви, которое я к нему имел, которое имели к нему все, близко его знавшие. Но во мне говорит не чувство друга или последователя. Ведь сам же он писал, что школы он не имеет и что последователей у него нет! Горько подумать о том, сколько непонимания встречал он при жизни, несмотря на всю ослепительную ясность, на художест-

* Он упоминает об этом событии в своем стихотворении «Три встречи», помещенном в «Вестнике Европы».

венное мастерство своего слова. Всех привлекали лишь отдельные стороны его таланта, его деятельности, его учения. Одни ценили в нем только публициста, другие — критика, третьи — философа. Всем, или почти всем, было чуждо его учение в том, что для него самого было всего дороже, т. е. в своей полноте и цельности, в своем основании.

О достоинстве философских построений вообще могут существовать различные мнения; но если человечество чтит имена великих мыслителей, создавших системы целостного миропонимания, то имя Владимира Соловьева причтется к их именам. Пусть назовут мне в новейшей истории мысли философский синтез более широкий, чем тот, который был задуман им с такою глубиной, так ясно, стройно и смело. Пусть укажут мне философское учение, которое, признавая в полной мере результаты современного знания и его строгие методы, сочетало бы с ним умозрение столь возвышенное, широкое и смелое, столь враждебное всякому догматизму и вместе столь непосредственно проникнутое положительными религиозными началами. Художеству мысли в его творениях соответствовало и художественное совершенство ее выражения, и мы смело можем признать его одним из великих художников слова не только русской, но и всемирной литературы.

Учение Соловьева, учение «Положительного Всеединства», не было эклектической системой, собранной и составленной искусственно из разнородных частей. То был живой, органический синтез, изумительный по своей творческой оригинальности и стройности, парадоксальный по самой широте своего замысла и проникнутый глубокой, истинной поэзией. Владимир Сергеевич раскрывает основное свое философское убеждение. Все отдельные философские начала, все отдельные политические и нравственные принципы, нашедшие свое выражение в противоположных учениях, представляются ему недостаточными и ложными, поскольку они утверждаются в своей отвлеченности, поскольку они берутся в своей исключительности и отдельности. Принимая одну сторону всеединой истины за целое и утверждая ее как самодовлеющую, безусловную и полную истину, мы обращаем ее в ложь и приходим к внутренним противоречиям. И вся философская деятельность Вл. С. Соловьева, начавшаяся со строго логической, мастерской критики «отвлеченных начал», состояла в добросовестном усилии «прийти в разум истины» и показать положительное, конкретное всеединство этой истины, которая не исключает из себя ничего, кроме отвлеченного утверждения

отдельных, частных начал и эгоистического самоутверждения единичной воли.

В учении Вл. С. Соловьева каждый мог найти нечто свое. И вместе каждый сверх своего находил в нем и много другого, чуждого себе, казавшегося несовместимым. Одно это соединение возбуждало против него досаду, и притом противоположных сторон.

То же наблюдалось и в сфере вопросов общественных, несмотря на весь блеск его публицистического таланта и возвышенность его стремлений. Его значение для общественного сознания нашего было велико. Он похоронил славянофильство и его эпигонов; двадцать лет он был, бесспорно, самым сильным обличителем отечественных Больших Кулаков, самым могущественным противником надвигающегося одичания, обскурантизма и «внутреннего китаизма». Но он стоял вне партий; его глубокая преданность положительным началам государства, и в частности нашего, русского государства, отдаляла от него одних, точно так же как его полемика против национализма и пламенная борьба за свободу личности и свободу совести, за нравственные принципы в жизни общества и государства отчуждала от него других. Его общественный идеал был религиозным идеалом Царства Божия, реально осуществляющегося в государственно организованном человеческом обществе. Сознание той высшей духовной цели, которой он отдавал все свои силы, посвящал всю свою деятельность, не покидало его никогда, и он помнил о ней в самых жарких и страстных полемических схватках. Напомню, как в одной из остроумнейших полемических статей, помещенных в «Вестнике Европы», он сравнивает свою полемическую деятельность с «послушанием» монаха, выметающего сор и нечистоты из монастырской ограды.

Его религиозность была так же широка, как его мирозерцание, и в ней лежали самые глубокие корни этого мирозерцания. То была религиозность простая и цельная, проникавшая все его существо, непосредственная и живая, привлекавшая к нему сердца простых людей и вместе отчуждавшая от него многих своей глубиной, своей напряженной силой и своей шириной. Одни не могли понять, как мирится его мистицизм с таким широким и светлым умом, с такой могучей диалектической силой, с таким универсальным научным образованием; этот ученый, мыслитель, знакомый со всеми выводами новейшего естествознания, убежденный эволюционист, наконец философ, владевший всеми приемами филологической критики, верил в реальный мир духов, в который верит первобытный дикарь. И эта вера, чуждая в нем всякого суеверного страха, не была у него

простою причудой: она входила в плоть и кровь его мирозерцания, она составляла его личную особенность, и он высказывал ее при всяком случае с той единственной в своем роде откровенностью и прямоотой, с какою он вкладывал всю свою личность в свои писания. Но смущал он не одних скептиков: религиозные люди смущались самой широтой и смелостью его веры и не могли помириться с тем универсальным, вселенским христианством, которое он исповедовал.

В нем было изобилие веры, откликавшейся на все религиозное, с любовью принимавшей все подлинно христианское. То соединение церквей, которое было его любимой мыслью, которое он проповедовал в прежние годы, было в душе его не только идеей, а живым, совершившимся фактом. В религиозной истории, в истории христианства нашего века личность Владимира Соловьева займет подобающее ей место — как исповедника вселенского христианства, который сумел жизненно усвоить и соединить в себе веру разрозненных церквей. Умолчать об этом — значило бы умолчать о самом главном в духовной жизни Владимира Соловьева.

Глубокая и свободная личная религиозность, враждебная всякой мертвенной обрядности и догматизму, личное отношение ко Христу, радостная уверенность в Боге, духовное служение в светском призвании сближали его с протестантством. Признавая неограниченное право свободного исследования и личного убеждения, он разделял и протестантское отношение к Писанию — в одно и то же время религиозно-мистическое и рационально-научное. Но христианство не ограничивалось для него личным, индивидуальным, внутренним фактом. Реальный союз Божества с человечеством, или факт «Богочеловечества», являлся ему всемирным, космическим началом, раскрытием живого смысла вселенной, ее законом и конечною целью ее эволюции. Универсальное по существу, христианство должно стать всечеловеческим, всемирным в действительности, чтобы осуществить Царство Божие на земле. Отсюда необходимость вселенской католической Церкви, через которую осуществляется это царство, необходимость собирательной теократической организации человечества, созданной Христом. И Владимир Сергеевич признал теократический идеал той Церкви, которая поставила его на своем знамени, — идеал католической Церкви; он верил в реально-мистическое, божественное установление верховной духовной власти римского первосвященника как условие единства и внутренней независимости земной Церкви. Об отношении Соловьева к католицизму много говорилось у нас, и много сказано

было неверного и даже ложного. С католической стороны его проповедь встретила самую авторитетную *положительную* оценку. Но и там, как и у нас, не поняли, что один внешний католицизм, одно внешнее единство Церкви под главою земного, Богом поставленного первосвященника еще не было для нашего мыслителя полнотою христианства или самым главным в христианстве: в своей «Повести об антихристе» он рассказывает, как католики забывают о Христе и переходят на сторону его противника во имя внешнего восстановления и возвеличения папской власти. «Ограду» римской Церкви он никогда не принимал за самую Церковь и самую Церковь не ставил выше живущего в ней. Наряду с католическим идеалом христианской универсальной теократии, или «града Божия», он, подобно Августину, носил в себе евангелический идеал духовной свободы во Христе, веруя, что в корне, в существе христианства, в одно и то же время и личного и всемирного, нет и не должно быть противоречия или разделения.

И, наконец, этот человек, жизненно усвоивший религиозные идеалы западных исповеданий, жил и умер самым искренним и убежденным сыном Православной Церкви, в которой он видел «Богом положенное основание». Те, кто знал его, помнят его благоговейную любовь к святыням Церкви, к ее таинствам, иконам, молитвам, к ее мистическому богослужению, «ангелами преданному», как он выражался. Здесь, как и всюду, вера его была сознательна и философски продумана*, органически связана со всем его миросозерцанием; но и здесь, как и всюду, она была непосредственной и живой; он свидетельствовал ее и своими богословскими трудами, и своим пламенным обличительным словом против пороков нашего церковного строя, и своим увещанием к раскольникам**; он свидетельствовал ее всею своей жизнью и своей смертью.

Мертвой, головной веры он не знал, и от веры, как и от добра, он требовал оправдания на деле. И вся жизнь его была стремлением оправдать свою веру, оправдать добро, в которое он верил. Делу своему он отдавался весь, не зная отдыха, беспощадный к себе, пренебрегая болезнью и истощением, торопясь исполнить то, что считал своим призванием. «Должно быть, я слишком много зараз работал», — говорил он в последние дни; как ни велико было обилие его дарований, его физический организм не выдержал постоянного напряжения, постоянной кипучей деятель-

* См. его «Духовные основы жизни».

** См.: «Русь». 1881—1882.

ности. Те, кто видел его в последние годы, помнят, без сомнения, то впечатление крайней усталости, которое он так часто производил; но эта усталость не мешала ему работать больше прежнего. Напротив, она как бы заставляла его спешить сказать и сделать возможно больше, пока хватит сил.

То была цельная и светлая жизнь, несмотря на все пережитые бури, жизнь подвижника, победившего темные, низшие силы, бившиеся в его груди. Нелегко далась она ему. «Трудна работа Господня», — говорил он на смертном одре. Но в этой трудной работе он не изнемог духом, сохранил чистое сердце и душевную бодрость, тот высший, чуждый унынию источник веселья и радости, в котором он сам видел подлинный признак и преимущество искреннего христианства.

